

James Frey *Katerina*

ДЖЕЙМС ФРЕЙ
КАТЕРИНА



МОСКВА
2021

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
Ф86

James Frey

KATERINA

Copyright © 2018 by James Frey

Перевод с английского *Ульяны Сапциной*
Художественное оформление *Юлии Девятовой*

Фото автора © by Ellis
Alexander Frey

Фрей, Джеймс.

Ф86 Катерина / Джеймс Фрей ; [перевод с английского У. Сапциной]. — Москва : Эксмо, 2021. — 352 с.

ISBN 978-5-04-099778-7

В Париже он был безрассудным, импульсивным, ослепленным искусством и глубоко влюбленным. Он мечтал стать писателем, зажечь этот мир, поделиться с каждым своим внутренним огнем. А двадцать пять лет спустя в Лос-Анджелесе он стал богатым, знаменитым и опустошенным. Самоубийство? Он уже был готов к нему, если бы не анонимное сообщение. Кажется, незнакомка из прошлого может вернуть его к жизни?.. Или же разбить на мелкие осколки.

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

© Сапцина У.,
перевод на русский язык, 2021
© Оформление.

ISBN 978-5-04-099778-7

ООО «Издательство «Эксмо», 2021

«Когда-то, насколько я помню,
моя жизнь была пиршеством,
где все сердца раскрывались
и струились всевозможные вина.

Однажды вечером я посадил
Красоту к себе на колени. —
И нашел ее горькой. — И я ей
нанес оскорбленье»¹.

Артюрь Рембо, «Одно лето
в аду», 1873 г.

¹Пер. М. Кулинова (прим. пер.).

Лос-Анджелес, 2017 год

Все началось с запроса в фейсбуке. От какого-то Йенте Поэнбенка. Ни фото, ни друзей. Пустой профиль. Началось опять. Спустя двадцать пять лет.

Ты вообще когда-нибудь думаешь обо мне?

Я ответил:

Возможно.

Так и продолжалось.

Я думаю о тебе каждый день.

Хорошо.

Иногда да, иногда — нет.

Как жизнь, правда? Иногда хорошая, иногда — нет.

Да, Джей, определенно так и вышло. Для нас обоих.

Кто это?

Хочу, чтобы ты думал обо мне каждый день.

Кто это?

Хочу, чтобы ты думал, улыбался и вспоминал.

Кто это?

Думай, улыбайся и вспоминай, Джей.

Кто?

Для меня. Делай это для меня.

Париж, 1992 год

Я живу на улице Сен-Пласид. Пол сплошь заставлен пустыми винными бутылками и пепельницами, мой матрас лежит на полу в углу. Краска на стенах облупилась, окна не закрываются. Кончается двадцатый век, мы живем в обществе, которое вроде бы считается передовым. Но наши желания — наши желания все те же. Такие же, как в первый день, когда один из нас высунул нос из сраной пещеры. Люби ебись ешь пей спи. Этим я занимаюсь здесь, в самой прекрасной и цивилизованной столице мира. Люблю ебуться ем пью сплю.

Прошлой ночью Луи вывесил на дверную ручку красный шарф. Луи любит мальчишек-арабов, да помоложе, лишь бы восемнадцать уже исполнилось. Шарф означает «не суйся», хоть я и без шарфа слышал их через дверь и понял, что там. Я ушел бродить, купил пару бутылок дешевого вина и устроился на скамейке в Сен-Жермен: смотрел на проходящих мимо симпатичных девчонок, представлял, каково это — быть с ними, целовать их, вызывать у них улыбку или смешить, заигрывать с ними, трахать их, влюбляться в них. Я знал: на что-то мне даже рассчитывать не стоит. А в чем-то, может, и повезет. Я сидел, и пил, и глазел, и фантазировал, пока еще мог сообщать, а потом перестал и думать, и помнить, и проснулся под деревом на набережной Вольтера и потопал обратно домой. Красный шарф исчез.

Луи варит кофе. Он мнит себя философом, синоптиком, астрономом, полиглотом, творческой личностью. Мы живем на шарике, говорит он, на крошечном голубом шарике в мелкой солнеч-

ной системе в маленькой галактике бесконечной Вселенной. Что бы я, ты или кто-нибудь другой ни делал, это не значит ни черта. Нам надо радоваться и проводить время в погоне за удовольствием и болью и всякой-разной похотью и страстью, какие только бывают. Надо следить, чтобы наши члены были твердыми, а киски мокрыми и сердца бились быстро: тук-тук-тук. Но нет ведь, и все по нашей дурости, потому что нам, видите ли, кажется, что мы важные птицы, что и мы сами, и наши дела много значат, вот мы и тратим время впустую, въебываем на бессмысленной работе и напрягаемся и лезем вон из кожи и силимся стать не теми, кто мы есть, а мы есть животные. Так все делают, все человечество, вся эта кишачная, глупая, дурацкая толпа, все-все, кроме меня. Но я-то знаю, — я, Луи, принц Сен-Пласидский. Я слушаю сердце и член, и для меня важно только то, от чего они поют. Так что запоминай, парень. И учись. Следуй зову своего сердца и члена. И помни, что вот это все не значит ничего. И будешь счастливым, как я.

В Париже я прожил уже целый месяц. Мне двадцать один год, я приехал сюда один, никого здесь не знал, не умел ни слова сказать по-французски, собрал манатки и свалил. От друзей, от родных, от Америки. Какой бы ни была, какой бы ни должна была стать моя жизнь, она кончилась. Я родился и вырос, чтобы стать деталью машины. Спицей в колесе. Шестеренкой. Ее послушным зубцом, навечно вбитым на его собственное сраное место. Ходи в школу, соблюдай правила, найди работу, работай копи голосуй подчиняйся, женись купи дом заведи детей, ра-

ботай копи голосуй подчиняйся учи своих детей тому же, работай копи голосуй подчиняйся, умри, чтобы потом сгнить в сраной яме. На хуй машину. На хуй людей, которые ее построили. На хуй людей, которые управляют ею. На хуй остальных, которые согласились стать в ней винтиками. А я здесь, в самой прекрасной и цивилизованной столице мира. Я верю в Луи, его безумные глаза, трясущиеся руки, трубный голос, верю в то, что он рассказывает о погоде и звездах. Следую зову сердца и члена. Когда им хочется петь, мы поем. Когда им хочется улыбаться — улыбаемся. Когда их тянет танцевать, мы танцуем. Хотят сломаться — ломаемся. Пусть хотят чего угодно, идут куда угодно, нахуйодят удовольствия или проблемы, но мы никогда не будем работать копить голосовать подчиняться. На хуй машину. Цель должна быть одна — сжечь ее дотла. Поджечь и сплясать вокруг сраного костра.

Вот я и брожу по древним улицам, где люди говорят на языке, которого я не знаю, и ищу то, чего никогда не найду. Я мог бы сказать, что это свобода, но это не просто свобода, мог бы назвать это просветлением, но просветления мне слишком мало, мог бы сказать, что это все, потому что для меня это на самом деле все — любовь ебля еда питье сон чувства жизнь жизнь жизнь. Это все. Хочу сжечь на хуй эту машину. Хочу жить.

Лос-Анджелес, 2017 год

Все у меня ништяк, и трава зеленая. Из одних окон виден океан, из других — желтое море над сверкающими стальными башнями.

Есть и деревья и птицы и бассейн. Три машины в гараже, двое детей в спальнях, жена, спящая рядом. Ипотека оплачивается каждый месяц вовремя, остальные счета — по мере поступления. Помощница по хозяйству приходит каждый день, как и люди, которые ухаживают за газоном, деревьями, бассейном и собирают собачье дерьмо, которое наш питомец где только не оставляет. У меня есть гараж, домишко, или студия — как хотите, так и называйте, — в глубине участка, вдали от дома, от шума, от людей и от всего мира. В этой камерке я целыми днями просиживаю перед компьютером, слушаю музыку, смотрю ТВ, читаю книги, играю в видеоигры, иногда работаю — якобы занимаюсь делом, тем, что важно, тем, что одни люди хотят прочитать, а другие платят мне, чтобы я это написал. Денег мне дают охренеть сколько. Я делаю то, что они от меня хотят, даю им то, за что они мне платят, и ненавижу себя. А когда, притормозив, успеваю задуматься о том, что я вообще делаю и как до этого дошел и что у меня еще есть, и что я уже профукал, когда думаю каким пропащим кажусь самому себе каждый день и каждую секунду, как просрал все подчистую, и это ежу понятно, так и хочется купить пушку и вышибить себе сраные мозги. Но для этого у меня кишка тонка. Вот я и брожу по своей траве и глазею на деревья и слушаю птиц и гляжу на океан и небоскребы и улыбаюсь детям и сплю рядом с женой и оплачиваю счета и делаю работу. И ненавижу себя. Каждую минуту каждого дня. Ненавижу себя.

Париж, 1992 год

Открой дверь.
Выйди наружу.
Жизнь ждет.

Секс и любовь и книги и искусство. Солнце на восходе или закате. Смех и музыка. Тихое местечко, чтобы посидеть. Почитать или подумать или смотреть, как проходит день. Или нет. Пройтись. В суматохе, в толпе, в шуме. Сигналит машина. Мотоцикл. Болтают люди. Двери открываются и закрываются, на них дребезжат колокольчики. Ссорится пара, ревет младенец. Идти или танцевать или прыгать или бежать, делать все, что хочешь, идти, куда вздумается. И найти что-нибудь бесподобное или ужасное или вообще ничего. Восторг или разочарование. Приключение или скуку. Открой гребаную дверь.

Жизнь ждет.
Выходи.

Мой день всегда начинается одинаково. Я иду в булочную. Где бы я ни проснулся — дома, в переулке, в парке, в чьей-нибудь квартире, на чужом полу, в кровати или ванне, — я иду в булочную. Она на первом этаже дома, где я живу, прямо под нашей с Луи квартирой. Обычная такая французская булочная, как говорят на своем красивом языке французы — *буланжери*, тут такие в каждом квартале. В буланжери продают хлеб, хотя хлеб во Франции не просто хлеб. Это жизнь, это дух, кровь, самобытность, искусство. Все мои знакомые-французы относятся к хлебу со всей серьезностью, как американцы к оружию или христиане к молитвам. Спорят, у кого

лучше багеты, булочки, *pain au chocolat*, в какое время суток лучше всего покупать хлеб, каким его есть — теплым или остывшим, каким маслом мазать и в каком количестве, можно ли выжить на одном только хлебе. Если рядом француз и говорить вам решительно не о чем, только подними тему хлеба — и тебе расскажут, как он хорош в Париже и как ужасен везде за его пределами. Неизвестно почему, но так оно и есть: в Париже хлеб лучше. Вкуснее, ароматнее, приятнее на ощупь и на вид. Когда отламываешь кусок, он и хрустит звонче. Я ем багет каждый день, и это, как правило, все, что я съедаю за день. Пять франков, то есть почти доллар, и больше о еде можно не думать. А деньги тратить на то, что гораздо важнее, — на книги или ручки или сигареты или кофе или вино, иногда — на цветы для старушек или красивых девчонок, случайно встреченных на улице. Старушки всегда улыбаются, девчонки иногда тоже. Или просто отворачиваются и уходят. Идиотизм в чистом виде. Дарить цветы незнакомым людям. В любом случае эти деньги потрачены не зря.

У булочной под нами простая синяя вывеска, простой стальной прилавок, витрины со всякой выебистой выпечкой и корзины за ними, полные всевозможного хлеба. За корзинами видны печи и столы, мука, тесто, скалки, организованный хаос, из которого рождается товар. Хозяева булочной — пожилая пара французов. Представляю себе, что булочная им досталась от родителей, а тем — от своих родителей, а им — от своих, и так далее в глубь веков, вплоть до галлов с измазанными сливочным маслом волосами. Они там

ежедневно, эта самая пара стариков, открывают на заре и закрывают в пять вечера. Муж печет, жена управляет с кассой, носят одинаковые белые передники с синей отделкой, в цвет вывески снаружи. Улыбаются покупателям, обмениваются любезностями и смеются с теми, кто постоянно у них бывает, продают багеты, круассаны, *rain au chocolat*, протягивают им всякие штучки, названий которых я не знаю и выговорить не могу, — заковыристые французские ништячки, на вкус божественные, а стоят гроши. Меня не любят, хоть я и бываю здесь каждый день. Вхожу, встаю в очередь, здороваюсь, спрашиваю багет по-французски с моим дерьмовым акцентом, отдаю пять франков. Женщина со мной не здоровается и вообще никак на меня не реагирует, только забирает у меня деньги и протягивает багет. Иногда я машу рукой ее мужу, который или хмурится, или отворачивается. Насколько я знаю и уже успел увидеть, я — единственный американец, который покупает у них хлеб, видимо, поэтому меня и не любят. Как я уже убедился, хоть и считается, что французы терпеть не могут американцев, но, если пытаешься как-нибудь объясниться по-французски и сам не говнюк, французы клевые. Высокомерные, сдержанные, холодные, довольно резкие, и если начнешь тупить, они не станут делать вид, будто все в норме, но такие они со всеми, в том числе с другими французами. Вот эту прямоту я и ценю, когда мне не пудрят мозги. Если ты сам клевый, то и французы клевые. А если мудака, тебе не светит.

Но хозяйева булочной, симпатичные старички в белых передниках с синей отделкой, про-

дающие мне хлеб, — они-то как раз и ненавидят американцев. Или, может, одного конкретного американца. Чаще всего я проворачиваю сделку в булочной по возможности просто и безболезненно. Спросить хлеб отдать деньги взять хлеб выйти. Но иногда все же пытаюсь завести с ними разговор — спрашиваю о политике, о том, болеют ли они за «Пари Сен-Жермен», кого предпочитают — Мане или Моне, читали ли Виктора Гюго и Гюстава Флобера, и если да, кто им больше нравится, случалось ли им вызывать других местных булочников на багетный бой. Что бы я ни говорил, меня не замечают. Пропускают слова мимо ушей. Другие покупатели иногда смеются, иногда смущенно и неловко отворачиваются. В любом случае я отдаю деньги беру хлеб выхожу.

Открой дверь.

Выйди наружу.

Жизнь ждет.

И я гуляю. Без цели, без плана. Мне нечем заняться, некуда идти и не с кем встречаться. Для прогулок во всем мире нет лучше города, чем Париж. На каждом углу здесь еда, вино, искусство и красота. Все здания приглушенно-белые или темно-серые. Высокие окна на каждом этаже. Одностворчатые двенадцатифутовые деревянные двери, неброские номера, вделанные в камень. Улицы людные. Не образуют сетку, а тянутся и поворачивают, как им вздумается. В городе господствуют Большие бульвары. Елисейские Поля, Шанз-Элизе с их широкими тротуарами, гигантскими кафе и огнями, парижская Таймс-сквер, ограничены Триумфальной аркой с одной стороны и площадью Согласия